

СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая. Живой среди лисиц	9
Глава вторая. Лагерь ужаса пуст.....	80
Глава третья. Вокруг черного.....	147
Глава четвертая. Пепельная среда.....	223
Глава пятая. Так тихо и стремглав.....	286
Глава шестая. День радости краток.....	358

...Бог знает, где теперь вся эта мебель!

КАВАФИС

Глава первая

ЖИВОЙ СРЕДИ ЛИСИЦ

Маркус. Воскресенье

Маркус свернул карту, вышел из машины, бросил куртку на траву и сел лицом к лагуне, подставив лоб слабому апрельскому солнцу, позволявшему держать глаза открытыми. На «Бриатико» ему смотреть пока что не хотелось. Он и так знал, что на вершине холма, за пиниями и кипарисами, виднеется амфирный фасад — львиные лапы и торнеллы, как будто выкрашенные луковой шелухой, — здание, где он провел самый странный год своей жизни, издали похожее на Тауэрский мост. В первый раз он увидел его в девяносто девятом, тогда это было семейное поместье, *tenuta di famiglia*, через несколько лет оно стало отелем, потом богадельней, а теперь, как ему говорили, совершенно разорилось.

Море еще дышало холодом, едва уловимая линия в том месте, где лагуна сходится с небом, была теперь черной и блестящей, будто проведенной японской тушью. Он помнил, что с севера пляж защищает от ветра буковая роща, а с юга — стена портовой крепости. Со стороны моря кто-то написал на ней размашисто, красным мелком: *Lui è troppo tenero per vivere tra i volpi*.

Слишком нежен, чтобы жить среди лисиц. У этой стены они с Паолой стояли, задрав головы, и смотрели вверх, на холмы, где в тусклой зелени слабо светилась яичная скорлупка «Бриатико». Завтра сходим туда, сказала Паола, там есть часовня семнадцатого века, я хочу сделать набросок для курсовой работы. Завтра сходим, согласился он.

В тот вечер они обедали в трагатории в Палетри — заказ им принесли в медном котле и водрузили на подставку с горящим спиртом, в котле застывал рыбный бульон цвета ржавчины, в бульоне плавали хвостики сельдерея. Потом они возвращались в обнимку по скользкому от дождя гравию и рухнули в палатку, будто на дно илистого пруда.

Теперь на месте буковой рощи виднелась распаханная земля, обнесенная забором, в земле белели мелкие камни, похожие на кости, отмытые дождем. Здешние деревни тоже были белыми и мелкими. Возникшие двести лет назад на месте овчарен и пещер, где жили лесорубы, они срослись, будто коралловые ветки, и в местах, где ветки соединялись, всегда бывало кладбище, нарядное, обсаженное кустами красного барбариса.

Маркус поднялся с земли и наконец посмотрел на «Бриатико». Знакомый фасад показался ему чужим, каким-то ослепшим, и он не сразу понял, что почти все окна закрыты ставнями, такими же белыми, как парадные двери. Забыли закрыть только окно на втором этаже — он точно помнил, что это библиотека, — и оно темно сияло на солнце.

Маркус пошел к машине, вспомнив, что через час трагатории в деревне закроются. Дальше он мог ехать без карты, дорогу в Траяно ни с чем не спутаешь, две острые розовые скалы сделали ее знаменитой. Скала, что поменьше, отлого спускается к морю, ее контур напоминает плавник окуня, на голове окуня краснеют чешуйки деревенских крыш. Скала, что побольше, обрывается гранитным уступом, на его вершине темнеет эвкалипт, похожий на кадилницу. Издали кажется, что он растет совсем рядом с отелем, но Маркус знал, что между скалой и «Бриатико» добрых два километра — и то если идти по парку, напрямик.

Punto di Fuga, вот как это называется, вспомнил он, точка в перспективе, где параллельные линии сходятся вместе. Кажется, о ней говорила Паола, когда они стояли перед фреской

Мазаччо во флорентийской церкви. Эти ребята придумали перспективу, сказала она тогда, до них все предметы и люди жили в одной плоскости, будто вырезанные из бумаги. Точки схода бывают земные, воздушные, еще какие-то. А бывают недоступные — это те, что за пределами картины. О них можно только догадываться. Может, их и нет вообще.

Еще в Англии, случайно, на блошином рынке, Маркус купил клеенчатую карту побережья и повесил на стене напротив окна, закрыв длинную трещину в штукатурке. По утрам солнце водило лучом по неровному треугольнику лагуны в окружении кудрявых холмов. Деньги за роман кончились еще в декабре, и всю зиму он прожил в долг, пользуясь добротой своего лендлорда, питающего старомодные чувства к романистам, но в конце концов терпение лопнуло и у старика. Возвращаться было особенно некуда, разве что в родительский дом, где он не показывался с тех пор, как оставил университет и поссорился с отцом.

Будь у него деньги, хоть какие-то, он давно вернулся бы в Траяно. Каждое утро, проснувшись, он смотрел на карту знакомого берега: прожилки горных дорог и синее полотно Тирренского моря. Он помнил, что деревня повернута спиной к воде, а берег застроен угрюмыми пакгаузами. Если траянец хочет погулять, то к морю он не идет, море — это работа. Для прогулок есть улица Ненци: с одной стороны там живые изгороди из туи, с другой — оливковые посадки, на окраине она становится дубовой аллеей и ведет на кладбище. На каменных воротах кладбища еще видны фигуры святых, изъеденные зеленым лишайником.

На карте берег, очерченный ультрамарином, казался дружелюбным, сулящим долгие безветренные дни. Однако Маркус помнил, что все обстоит иначе: летом песок и камни раскаляются от зноя, а зимой порывы ветра сотрясают ставни и срывают черепицу. Он знал норы этого мистралья, видел расщепленные до корня столетние каштаны и взлохмаченный ельник на скалах, лежащий на землю, будто ржаные колосья. Добравшись до деревни в низине, ветер выбивался из сил и покорно проветривал проулки и дворы, выгоняя из них запахи рыбной гнили и горький дым горелого бука.

Петра

В детстве я думала, что время похоже на шар. То есть все, что мы считаем прошлым, происходит теперь, одновременно с нашей жизнью, только на другой стороне шара. И если найти правильный туннель, то можно спуститься в прежние времена и посмотреть на прежних людей. Такими туннелями я считала оливковые деревья, ведь они живут по две тысячи лет. Приятно думать, что ты трогаешь ствол, который мог потрогать один из аргонавтов, высадившихся в Салерно. Жаль, что в школе меня в этом разубедили. Можно было бы думать, что маленький Бри ходит где-то по своим тропинкам, голова его похожа на маргаритку и он еще не собирается обрить ее наголо.

Брата убили на рассвете, а нашли в восемь утра, когда открылся рыбный рынок. Его тело лежало в корыте с солью. Туда кладут рыбу, привезенную с ночного лова, вываливают всю сразу и только потом разбирают, потому что в восемь утра солнце уже высоко, а колотый лед еще не доставили.

Полицейские курили, прислонившись к машине, уборщик сидел на корточках возле самых дверей, а за воротами рынка, обнесенного желтой лентой, уже собирался народ. Я сидела на гранитном полу, глядя на лицо Бри, румяное и свежее, как будто он только что закрыл глаза. В едва отросших волосах у него сверкала соль, а черная капля крови возле левой ноздри казалась неподвижной божьей коровкой. Рядом с братом лежал кусок зеленой проволоки, похожий на сачок для ловли крабов.

— Кому он мог задолжать? — спросил комиссар. — Можете дать нам список его дружков?

— Долги здесь ни при чем, — ответила я. — Он бы мне сказал.

— Разберемся. — Комиссар махнул рукой сержанту: — Начинайте.

Я поцеловала брата, стряхнула соль с его лица, встала и вышла из гулкого зала, заставленного чисто вымытыми железными столами. На пристани толпились растерянные рыбаки и скупщики, они стояли молча, стараясь на меня не смотреть. Только старый Витантонио кивнул и стянул свою вязаную шапку с головы. Я шла вдоль мола, облизывая соленые губы и думая, что мне сказать матери, когда я приду домой.

Все было как всегда: бензиновые разводы в лужах, железные тележки, заваленные рыбой, мокрые сети с запутавшимися в них дыньками поплавок, причальные тумбы, обмотанные пятнистыми канатами. В какой-то момент мне показалось, что все это розыгрыш, дурацкая шутка, и что сейчас у меня за спиной засмеются, затопают, Бри в своих хлопающих рыбацких сапогах нагонит меня, крепко схватит и приподнимет над землей.

— Эй, Петра! — За спиной послышались торопливые шаги. — Постой. Мне понадобится твоя подпись на бумагах. Зайдешь завтра в участок, ладно?

— Когда можно забрать тело? — Я остановилась и дождалась комиссара. — Мне нужно похоронить брата так, чтобы мама не узнала. Вы поможете?

— Ты уверена, что так будет лучше? — Он посмотрел на меня с недоумением. — Не то чтобы это было незаконно, но уж больно не по-людски.

— Мама просто умрет, если узнает. Она и так еле держится.

— Может, мне прислать сержанта, чтобы он сообщил твоей матери? Похороны — это святое. Тебе придется врать всю оставшуюся жизнь, подумай об этом.

— Врать я хорошо умею. — Я кивнула ему и пошла дальше.

Солнце уже поднялось над церковью Святой Катерины и теперь светило мне прямо в лицо. Весной день начинается рано, но стоит спуститься сумеркам, как ночь не дает им и получаса, шлепается на землю всей своей тяжестью, как огромная глубоководная рыба на палубу. Слепая, плоская, колотящаяся о железо рыба с зеленой проволочной чешуей.

* * *

Всю прошлую неделю меня мучили тревожные сны, разговор с братом показался мне странным, так что я подумала, что надо провести с ним вечер и выяснить, в чем там дело. Я собиралась уехать на день раньше, но на пятницу нам назначили семинар по криминалистике, и мне было жаль его пропустить.

Соберись я на день раньше, брат встретил бы меня на автовокзале, мы обнялись бы — моя голова едва доставала ему до плеча — и пошли бы домой по дороге, вьющейся между виноградниками. Вечером мы нажарили бы рыбы, открыли бутылку

вина и сели в саду на старую скамейку, чтобы поговорить. У меня было много вопросов, и я надеялась получить на них ответы. Теперь отвечать некому, а вино я вчера выпила сама, глядя на красивые виноградные плети, где мы однажды нашли гнездо дрозда.

Когда в феврале я получила от Бри дырявую открытку, то сразу почувствовала, что он пытается меня надуть и не рассказывает главного. Открыткой послужил черно-белый снимок, купленный, наверное, в лавке старьевщика. Это меня не слишком удивило, однажды брат прислал мне подставку для пивной кружки, на одной стороне был адрес, а на другой — реклама портера. На фото были две дамы и священник с ребенком на руках, склонившийся над купелью. Обратная сторона была заполнена почерком брата, который я называла *orte dell'ucello*, птичьи следы.

Сестренка, у меня потрясающая новость. Скоро мы разбогатеем, тебе и не снилось такое. Я найму матери сиделку и приеду к тебе в Кассино. Считай, что я нашел клад, настоящее сокровище, совершенно случайно — как находят все настоящее. Чего только не увидишь, возвращаясь с танцев! Приеду на «альфа-ромео» (8C Competizione!), твой брат Бри.

Мобильный телефон Бри не отвечал, но это обычное дело, ему часто отключают номер за неуплату. Я звонила домой целый вечер, представляя, как телефон заливается в нашей квартире, а мама сосредоточенно смотрит на него, не решаясь поднять трубку. Наконец брат ответил.

— Ты напрасно волнуешься, — сказал он вкрадчивым голосом, который всегда предвещал неприятности. — Тебе понравилась картинка с крестинами?

Я слышала, как он ходит по комнате, волоча за собой шнур, — наверное, искал сигареты.

— Кто эти люди на фотографии? Почему там дырка? И причем тут сокровище?

— Лучше скажи, ты слышала наши новости? — перебил он меня. — Читала в газетах про убийство Аверичи? Я его знал, приходилось пару раз подрабатывать у его дядьев на винодельне. У него в деревне полно родни.

— Хозяин «Бриатико»? А как это связано с открыткой?

— Тут все связано. Но я уже все развязал. Эта женщина заплатит за свою ошибку, у нее нет другого выхода.

— Какая женщина? Ты снова впутался в историю?

— Послушай, Петра, не забывай, что ты младшая, — примирительно сказал брат. — Не уверен, что я получу все, что потребовал. Но, по крайней мере, мы договорились о встрече!

Он сказал это с английским акцентом, изображая детектива из старого сериала, который мы смотрели в детстве. Детектив боялся собак, расследовал мелкие преступления в лестерширской деревне и всегда выходил победителем.

— Я видел убийство, — сказал он важно, и я услышала, как щелкнула зажигалка. — Убийство хозяина «Бриатико». Я стоял в гостиничном парке, в трех шагах от мертвого тела. Помнишь беседку на месте бывшей часовни? На днях я встречаюсь с человеком из отеля, мы уладим наше дело, и тогда я расскажу тебе все подробности. Честное благородное слово!

* * *

На первую неделю я устроилась в рыбную лавку, потому что денег совсем не было, и часто проводила сиесту в подсобке, отсыпаясь на холщовых мешках, пахнущих винным уксусом. Маме я сказала, что не хочу оставлять ее одну, куда Бри в море с рыбаками. Она посмотрела на меня с сомнением, но возражать не стала — у нее день на день не приходится. Помню, что я спросила у старого Пеникеллы, в какую компанию брат мог бы устроиться, чтобы исчезнуть надолго, и он записал мне название на пустой папиросной пачке. И добавил, что не одобряет мое вранье.

Возвращаться в Кассино я не собиралась. Из университета пришло письмо: мне разрешили академический отпуск, по семейным обстоятельствам. Каждый вечер я ходила на кладбище и сидела возле ниши в гранитной стене, глядя, как солнце садится в морскую воду. У ворот кладбища растут молодые клены, а дальше, до самой Аннунциаты, тянется мощеная дорога, поросшая колючим барбарисом. Ниша была с краю, одна из последних, на могилу у меня не хватило бы денег, к тому же настоящие похороны — дело шумное, а так мы с падре двух плакальщиц привели и все, что положено, сделали.

О том, чтобы пробраться в «Бриатико», у меня и мысли тогда не было. Мне казалось, что полиция разберется сама, не зря же

нашего комиссара прозвали комиссаром, хотя он всего-навсего старшина карабинеров. Они все еще занимались делом Аверичи, которое прогремело на всю округу, мне уже человек шесть о нем рассказали, правда, все по-разному. Жестянщик, живущий по соседству, целый час смаковал историю о том, как хозяина гостиницы пристрелили ночью на его собственной земле и оставили сидеть в беседке, будто спящего.

— Как пить дать, выслеживал свою непутевую перуджийку, — сказал жестянщик, — застал любовников в беседке и получил пулю в грудь, прямо в свое разгневанное сердце. Эту женщину волокли в участок на глазах у всей деревни, да еще в таком виде, что я разглядел наконец ее хваленые груди. Они и впрямь торчат, будто кабачки из грядки!

Я слушала его вполуха, думая о том, что быстро отвыкла от здешней бесцеремонной манеры выражать свои мысли и теперь она вызывает у меня досаду, примерно как поросшая плесенью стена в родительском доме. Что ж, думала я, комиссар закроет дело Аверичи, а потом возьмется за дело брата, их же там всего четверо в участке. Надо самой поговорить с людьми, поискать подробности, записать свои размышления и передать комиссару, когда придет время. Даром, что ли, меня учат на юриста за деньги провинции Кампанья.

С утра я взвешивала скользких кальмаров, а после двенадцати отмывала руки лимонным соком и отправлялась вниз, на побережье, к карабинерам, — шесть километров под гору и столько же обратно, если никто не подберет. Поначалу комиссар и слушать меня не хотел, пьяная драка, ревность, преступление чести, ему все годилось, лишь бы не вникать, а тут я с дырявой открыткой и подозрениями. Мне даже показали найденную у брата записку, принесли из архивной комнаты. «Приходи в час ночи в рощу за каменоломней. Будет тебе то, чего просишь, красавчик». *Красавчик* было написано на деревенский манер: *фишетто*. Ну, против записки мне нечего было сказать. Записка любовная. И на брата это похоже, он любил всякие открытки, закладки, таинственные послания, одним словом — бумагу.

Фишетто — так звали ослика, ходившего по кругу в деревенской маслодавильне, каждой осенью мы бегали смотреть на него по утрам, зажав в кулаке угощение — кусок булки или су-

шеную сливу. В те времена оливки еще не возили в Каstellабату на масличный пресс. Туго набитые мешки доставлялись на телеге в сарай на окраине деревни, где черный ослик в кожаной упряжи вращал каменные жернова. Глаза у него были печальные, атласно-черные, за это он и получил свое прозвище. У брата глаза были серые, со множеством крапинок, а у меня глаза синие, таких в семье ни у кого не было, кроме тосканской бабушки, которую я никогда не видела.

* * *

Двенадцатого марта я устроилась работать в «Бриатико», а в конце марта полицейские закрыли дело, и ездить к ним стало незачем. Я так и не смогла сдвинуться с мертвой точки, хотя находилась именно там, где нужно, практически на месте преступления. За несколько дней до своей гибели брат сказал мне, что намерен встретиться с кем-то из «Бриатико», чтобы получить деньги за молчание. «Деньги посыплются на нас, как треска на палубу, — весело сказал брат, а потом добавил пронзительным птичьим голосом: — Пиастры! Пиастры!»

Место, где брату назначили свидание, было выбрано с умом: дорога через эвкалиптовую рощу, прилегающую к рынку, завалена обломками гранита, еще до войны вывезенными с местной каменоломни, проехать там нельзя и людей почти не бывает. Кто это был: постоялец или человек из obsługi? И почему Бри упомянул женщину и ее ошибку?

В одно из дождливых воскресений я поехала в Палетри, чтобы поговорить с немцем Вернике, владельцем танцзала. Немец раньше был *капореджиме* при Джузеппе Сарно, теперь он смотрит за порядком в нашей фракции, все его уважают. Немцем его называют из-за фамилии, хотя он чистокровный позитанец, просто его дед сидел в лагере для перемещенных лиц, и американцы там что-то напутали с документами.

— Поезжай учиться, — сказал немец, стоя в дверях танцзала. — Брата уже не вернешь, а тебе может достаться на орехи.

— Вы ведь знаете, что сетку для оливок нарочно там оставили, изобразили *delitto d'onore*. Но преступление чести здесь ни при чем, брат был свидетелем в каком-то грязном деле, связанном с гостиницей на холме.

— Жизнь свидетеля редко бывает длинной. — Он зевнул и принялся отчищать ногтем какое-то пятнышко на красной двери. Над дверью висела вывеска «Babilonia», смешное название для деревенской дискотеки с неструганным полом и двумя шарами из фольги под потолком.

— Говорят, что у Бри был роман с какой-то местной девушкой. Может, она что-нибудь знает? Скажете мне ее имя?

— Слушай, у меня ведь тут танцзал, а не квестура. Сюда ходят и потаскухи, и девушки из хороших семей. Откуда мне знать, с кем путался твой брат? Если он взял чужое, то заплатил свою цену.

— Три дела за два года, начиная с убийства конюха из «Бриатики». — Я старалась говорить холодно, не повышая голоса. — Не бойтесь, что решат расследовать серию и пришлют настоящего следователя из города? *Delitto d'onore* отменили в прошлом веке, и теперь за него сажают в тюрьму так же, как за предумышленное убийство. Поверь мне, я изучаю право.

— Может, на севере и отменили. — Немец поднял на меня пасмурные глаза. — А здесь, на юге, мужчины еще уважают старые правила. Что касается конюха, то наши его не трогали. Он ведь бретонец, у него здесь даже врагов достойных не было.

Он зашел в танцзал и захлопнул красную дверь перед моим носом.

* * *

Оказалось, что лучший день в «Бриатики» — воскресенье. Особенно в ветреную погоду. Постояльцы смотрят кино или играют в карты в нижнем баре, старшая сестра Пулия уезжает домой, я остаюсь за главную, если, конечно, на медицинской половине дежурит не фельдшер Нёки, а кто-то из приличных людей. У фельдшера есть имя, но кроме как практикантом его никто не зовет.

В отеле клички есть у всех, думаю, что и у меня тоже, но это за глаза, а так у нас все улыбчивые и вежливые, никаких обид. Это первое правило в заведении, второе правило — никакого флирта между служащими. Зато за спиной все только и делают, что моют друг другу кости, особенно на кухне, там самое теплое местечко, у повара всегда можно ухватить пару бисквитов и кофе глотнуть. Повар у нас старый, он еще в прежнем ресторане ра-

ботал, как он говорит — при Романо Проди, во времена врунов и спиритов. Еще он говорит, что с тех пор мало что изменилось.

В гостинице все делается по старинке, даже телефон в холле похож на реквизит из фильма «Касабланка»: портье соединяет с номерами, втыкая латунный штекер в нужное гнездо. Правда, старикам почти никто не звонит.

Не знаю, почему покойный хозяин оставил все в таком виде, зато он вложил немалые деньги в разрушение стен и строительство вечно пустующей галереи зимнего сада. Обслуга прозвала это место *мост поцелуев*, хотя никто не назначает там свиданий. В галерее и стоять-то страшно, земля уходит из-под ног, потому что пол там прозрачный, пусть и засыпан пожухшей листвой. Кажется, что стекло вот-вот треснет под ногами — и свалишься прямо на верхушки молодых кипарисов.

В отеле нет беспроводной сети, и на все здание только два компьютера, довольно дряхлых. Один стоит в кабинете администратора, а второй — в читальне на втором этаже, которую все называют клубом, и, чтобы к нему подобраться, надо быть в хороших отношениях с библиотекаршей. Или быть самой библиотекаршей.

Первая неделя прошла в какой-то бессмысленной беготне, я ни на шаг не продвинулась и думала об этом по ночам, прислушиваясь к гостиничным шумам: к невнятному радио где-то наверху, к сквозняку, шевелящему створку окна, к пению воды в трубах, к шагам уборщицы, которая старше любого из здешних жильцов. Мне было тоскливо от мысли, что я нахожусь в одном здании с убийцей Бри и ничего не могу с ним сделать, даже имени его не знаю. Я вертелась на узкой койке, чувствуя, как выходящая к морю стена холодит мне бок. Комнаты для прислуги у нас на первом этаже, а там ремонта не делали еще со времен казино, свистит изо всех щелей — и если правда, что сквозняки заводятся к разорению, то этому отелю недолго осталось.

Раньше мне казалось, что стоит только осмотреться как следует, завести друзей и узнать, кто чем дышит, и я сразу узнаю убийцу в толпе, увижу его лицо, схвачу его за руку. Но где его искать? Среди поджарых, холеных стариков, гуляющих по парку в своих утренних халатах в голубую полоску? Среди докторов и безмолвной накрахмаленной прислуги?

Я знаю, что один из них убил моего брата. Кто-то, живущий в отеле «Бриатико», человек с сильными руками, способный затянуть гарроту так, что горло распахивается длинной черной улыбкой. Так ее затянули на шее конюха Лидио, я сама видела полицейский отчет и фотографии. На шее моего брата ее затянули слабее, на горле остался рубец, но кожа не лопнула.

Садовник

Не будь в библиотеке тусклой и нахохленной библиотекарши, я ходил бы туда гораздо чаще. И дело не только в полках с вином, хотя там есть отличное «Греко ди Туфо», век бы его пил, и еще «Везувио», что пахнет эфиром и грибами. Нет ничего лучше, чем сидеть на потертom диване в сумерках и смотреть на портрет, висящий над письменным столом. Хозяйка дома в шестьдесят втором году прошлого века — в нижнем углу есть дата и подпись художника. Девушка сидит босая в плетеном кресле у окна, за ее спиной видна кипарисовая аллея, просвеченная солнцем. Трудно поверить, что картину писали в шестидесятых. Где-то строили Берлинскую стену, в Пекинской опере жгли декорации, а в «Бриатико» давали балы и целовались в аллеях.

Глядя на хозяйку по имени Стефания, я часто думаю, что мы бы с ней договорились. Ну, может, не в совершенстве договорились бы, но получали бы удовольствие от беседы. С некоторыми людьми сразу чувствуешь, что вы вписаны в один и тот же *Tavole Amalfitane* — это кодекс мореплавателей, или, лучше сказать, морской устав, — я видел его в музее, не помню, в каком городе.

Здесь в отеле есть девочка, с которой я чувствую нечто похожее, хотя сначала она меня немного раздражала. У нее была странная привычка гладить меня по голове. У моей первой женщины была такая же привычка. Она могла часами гладить, выравнивать, скрести ногтями и тянуть за волосы. Она тоже была итальянкой, только из Трапани. У нее были губы цвета киновари, а над ними розовая полоска, будто помада размазана. Хотя помады у нее сразу не водилось.

Моя первая женщина бросила меня здесь, в Италии. Просто уехала, оставив мне палатку, примус и пару спальных мешков. Перед этим мы прожили неделю на берегу возле Таранто, пита-

ясь хлебом и мидиями в сидре: мидий мы собрали на отмели, а сидр купили у местного дядьки прямо с телеги. Раньше я моллюсков не ел, но подружка так ловко с ними обходилась — колола булавкой, нюхала, считала полоски, — что однажды я расслабился и уплел целый котелок. Ночью пошел дождь, а на меня нашло моллюсковое безумие. Я разбудил свою женщину и всю ночь вертел ее, будто мельничное колесо, грыз ее, будто овечий сыр, и вылизывал, как медовые соты. Коля в песке расшаталась, палатка рухнула, но мы возились в мокром брезенте, будто щенки, не в силах остановиться.

Потом мы перебрались на другое побережье, провели там еще одну ночь, хрустящую от мидиевой скорлупы, а наутро она меня бросила. Она ушла налегке, у нее был с собой только рюкзак с блокнотом и карандашами. Помню, что она наотрез отказалась оставить его в палатке, когда мы отправились на холм, — сказала, что наброски должны быть с ней, еще пропадут, не дай бог.

Еще помню, что всю дорогу до Траяно она говорила о норманнах, двуцветной кладке фасада и купели из красного порфира. А я смотрел на ее смуглый румянец, на мокрые волосы, заплетенные в десяток косичек, ежилась под дождем и думал о том, как мне повезло.

— В июне мне исполнится тридцать, — сказала она, когда мы поставили палатку в гроте, в основании прибрежной скалы. — Я старше тебя на восемь лет. Тебе это и в голову не приходило, верно?

Мокрый гранит был черным, а сухой — розовым, так что наше укрытие походило на разинутую собачью пасть. Моя подружка села на краю гранитного языка и болтала ногами над водой.

— Вот как? Значит, мы должны встретиться здесь через восемь лет, — ответил я, влезая в палатку и укладываясь на спальном мешке. — На этом самом месте. Иди сюда.

— Это же в другом столетии! — сказала она, устроившись рядом со мной. — Мы будем старыми и толстыми, у нас будут дома, канарейки и закладные. Ты правда приедешь?

— Разумеется. Я готов жениться на тебе завтра утром в деревенской мэрии.

— Ну уж нет! — Она засмеялась в темноте. Ее мокрые волосы холодили мне живот. — Через восемь лет другое дело.

— Ладно, приеду сюда двадцатого мая две тысячи седьмого года. *Meglio tardi che mai!*

Мы лежали валетом, я смотрел на ее бедро, в темноте казавшееся округлым снежным холмом, и представлял себя лыжником, плавно съезжающим вниз по склону.

— Смотри не подведи меня, — сказала она и тут же заснула.

Проклятые мидии во мне наконец утихомирились, и я мог спокойно лежать в темноте и слушать, как дождь поливает морскую воду. Если бы кто-то сказал мне, что это последняя наша ночь, я бы только рассмеялся. Рассуждения о смерти предполагают уверенность в том, что сам ты не умрешь.

Когда Паола бросила меня, я никак не мог в это поверить и провел возле палатки несколько дней, читая по второму разу карманный томик американской поэзии. Она не оставила мне записки, просто рассеялась как дым. Я сидел там и ждал, что она появится у гранитного обломка, обозначавшего вход на пляж.

— Ну что, испугался? — скажет она, снимая рюкзак и садясь на песок у остывающего костра. И не думал даже, скажу я, не поднимая лица от книги, я знал, что ты валяешь дурака. И в доказательство прочитаю из Дикинсон:

*Как много гибнет стратагем
в один вечерний час.*

На третий день я понял, что она не придет, закопал свой костер в песке, собрал палатку и уехал домой. Море было сизым, как изнанка ивового листа, на склоне холма темнели пинии, кривые и жилистые, будто вставшие на колени. Их сажают, чтобы защитить жилье от ветра, говорила моя подруга, трамонтана — это ветер с гор, очень крепкий, очень порывистый. Ничего хорошего нет в трамонтане, говорила она. Одно только хорошо — что дождя больше не будет.

flautista_libico

В интернате у меня было тридцать четыре врага. Ровно столько, сколько воспитанников было на втором этаже, остальных приходилось видеть реже, но не думаю, чтобы они меня любили. Когда

нас выводили на благотворительный концерт или в церковь, то можно было увидеть всех сразу: примерно три десятка мальчишек с плохими зубами и столько же девчонок в бронзовых серьгах. Ходить было положено по двое, длинной колонной, издали похожей на очередь за бесплатным супом.

Главным врагом была воспитательница Лучана, чернявая коротышка, потом соседи по комнате, которых бесила моя привычка читать по ночам, потом интендантша (считавшая, что я хочу отравить ее кошку), а за ней — все остальные. Интернат располагался на территории бывшего парка аттракционов и смахивал на меблированные комнаты, в которых мы жили раньше с матерью, только в интернате окна были заколочены и не открывались даже в жару.

От парка остались груды ржавого железа и билетные будки, в которых воспитанники курили и тискали девчонок. Сами классы помещались в здании летнего театра, поэтому все окна выходили на круглую террасу с перилами. По ночам старшие танцевали там в тишине, поскрипывая разболтанными досками (музыку они пели про себя, старательно шевеля губами, наушники были только у толстого Соррино, и взять их на полчаса стоило тысячу лир).

Через неделю после приезда у меня не осталось носильных вещей, взятых из дома, их перетаскали понемногу, подкладывая взамен какое-то затхлое тряпье. В конце концов уцелел только красный швейцарский ножик с зазубренным лезвием и отверткой, который приходилось носить под майкой, и хотя показать его кое-кому было бы не лишним, у меня хватило ума воздержаться, так что ножик остался при мне.

Еще через месяц меня остригли наголо, потому что в комнате завелся кошачий лишай, кошку велели выкинуть, и в этом тоже была моя вина. Через два дня под моим матрасом появился ее труп, меня обвинили в убийстве, выволокли на двор и привязали к карусельному столбу, оставшемуся от парка аттракционов. Это у нас был позорный столб, *pilloria*, там все время кто-нибудь да стоял, но я чаще всех.

Осень кое-как прошла, и к Рождеству меня отправили к донне Веккьо, которая написала мне пару открыток и считалась моей попечительницей. Она жила на четвертом этаже, над нашей бывшей комнатой, и мне трудно было засыпать в ее кровати, слу-

шая, как новый жилец хлопает внизу балконной дверью. Две ночи подряд мне снилось, что мать вернулась и ждет меня внизу, а в ночь на двадцать пятое приснилось, что она сушит волосы над газовой горелкой (смешно мотая головой), а я стою сзади и слушаю, как зеленый халат шуршит от ее движений и как шипит газ.

Наутро донна Веккьо сказала, что мои каникулы закончились (у нее образовались другие планы, и мои надежды на новогодний ужин пошли прахом). Возвращение в интернат казалось невозможным. Лицо Лучаны, прижимавшей меня в коридоре и больно щупавшей между ног, стояло у меня перед глазами. Изо рта у нее несло сердечными каплями, уж не знаю почему. В интернате капуцинов воняло практически от всех, хотя зубной пасты и мыла давали вдоволь. И все были озабочены сексом, куревом и возможностью сбежать в город. Куревом можно было откупиться от любой напасти, но мне негде было его взять, приходилось выполнять то, что велели. В основном мне велели мыть полы вместо дежурных по этажу, но бывало и похуже. Иногда старшие приходили к нам в комнату, вставали у стены, спускали трусы и приказывали их обслужить. А не хочешь, тогда грызи стекло.

Возвращаться туда было хуже смерти. У меня было чувство (когда донна Веккьо сажала меня в набитый народом междугородний автобус), что я собираюсь сунуть голову в глиняное гнездо, полное шершней. Всю дорогу мне удавалось держаться и не трястись, но на выходе из автобуса обнаружилось, что джинсы были мокрыми.

Похожее ощущение накрыло меня через несколько лет в автобусе, направлявшемся на юг, в бабкино поместье: у меня свело скулы, руки задрожали, а в животе заплескалась ледяная вода. Пришлось сказать себе, что того, кто провел четыре года в интернате капуцинов, ничто уже не способно удивить.

Маркус. Воскресенье

— Я не здешний! — сказал Маркус пасмурному полицейскому, когда тот зашел на террасу кафе прямо с улицы, перешагнув лавровые кусты, и поманил его пальцем. — Погодите, я сейчас представлю ее подальше.

— Синьор заплатит сейчас или зайдет в участок? — спросил полицейский, глаз его было не видно из-за нахлобученного на лицо желтого капюшона, но голос был молодым, и это вселило в Маркуса надежду.

Он уже два часа сидел под полосатым тентом, по тенту стучал дождь, из кухни пахло горячим грибным супом. Все лавки в деревне были закрыты, народ толпился у церкви с пальмовыми ветками, изнутри доносилась органная музыка, и пообедать было решительно негде. Утром Маркус зашел в скобяную лавку, где хозяином был пакистанец, не признающий пасхальной недели, и долго рылся в развале в поисках адаптера для зарядки телефона. Хозяин лавки наблюдал за ним с ленивым любопытством, потом спросил, чего он хочет, и ловко вытащил адаптер из ящика с железной мелочью. Потом он задал привычный вопрос о планах *на сегодня*, местные отвечают на него неопределенным кивком, но Маркус честно сказал, что собирался пойти пешком в Фуроре, посмотреть на водяные мельницы.

— Давно хотел увидеть место, где Росселлини снимал «Любовь», — добавил он, — с Анной Маньяни в главной роли. Вы его видели?

Хозяин лавки только рукой махнул в изнеможении. Он дважды пересчитал мелочь, не говоря ни слова. Ему было лет на восемь больше, чем Маркусу, но на руках уже проступили пигментные пятна, и повадки были шершавые, стариковские.

— Не смотри на карту, парень, — сказал он потом, — а если смотришь, умножай все на три. Этот Фуроре в семи километрах, только если из космоса глядеть, идти туда полдня, а ехать не меньше часа, да еще по серпантину. И тормоза нужны получше, чем у «форда».

Выйдя вслед за полицейским на улицу, Маркус понял, что сесть за руль, чтобы отвезти машину на стоянку, будет еще большей ошибкой. В Южной Италии на хмельного водителя смотрят с пониманием, но Маркус выпил уже два полулитровых графина, и в голове у него слегка мутилось. В полдень, зайдя в душный от сырости зальчик trattoria, он принялся и хотел было выйти, но подавальщик заметил его колебания, быстро вынес под навес плетеный столик и вытер скамейку полотенцем:

— Садитесь на веранде. Дождь скоро кончится, а у нас отличный пино.

Дернул же черт взять машину, думал Маркус, шагая за полицейским к тупику, где он оставил свой «форд», мог ведь поехать на автобусе со станции Тибуртина. И мокасины замшевые напялил, пижон, хотя и слышал по радио прогноз погоды. Полицейский шагал размашисто, опустив голову, струи дождя стекали по его спине медленно и на удивление ровно, будто прокладывали русла в желтой непромокаемой ткани.

— Вот, возле самых ворот кладбища!

Сержант остановился, приподнял капюшон и окинул Маркуса презрительным взглядом. Глаза у него были яркие, синие, зато лицо казалось небрежно вылепленным из бурой глины. Многие местные так выглядели: красавцы наполовину, будто глаза им вставляли из осколков синей вьетрийской мозаики, втыкали прямо в глиняную маску, не дожидаясь, пока высохнет.

— Ты не понимаешь или придуриваешься? — спросил полицейский. — Здесь лежит моя бабка и вся ее семья, на этой площадке по воскресеньям ставят горшки с цветами, наши женщины ее моют с мылом, ползают тут, отклячив задницы. А ты бросил здесь свою тачку, как будто не видел знака: *cimitero*. Да еще в Пальмовое воскресенье, когда у людей праздник. Ты видел знак?

Маркус попытался примирительно улыбнуться, но у него почему-то свело лоб и щеки. Порывшись в карманах, он достал бумажник и, вынув из него двадцатку, протянул ее полицейскому:

— Возьмите, офицер, а я отгоню машину к мотелю. Квитанция не нужна.

— Это что еще такое? После праздников приедете в участок и оплатите штраф. — Парень посмотрел на деньги и насупился, глина подсыхала прямо на глазах. — Я хочу видеть ваши права.

— Права-то здесь при чем? — удивился Маркус. — Я просто поставил машину не там, где полагается. Это ведь мелкое нарушение, верно?

Сержант смотрел в сторону, синие глаза поблекли и затянулись птичьей пленкой. Парень из той породы, что любую попытку сопротивления принимает как личный вызов, подумал

Маркус, протягивая права, прежний сержант был точно таким же, только помоложе. А может, это он и есть?

— Ключи тоже, — заявил сержант, протянув руку ладонью вверх. — Я сам отгону машину на паркинг возле здания полиции, а вы пойдете пешком.

Маркус вернулся в закусочную и расплатился. Допивать он не стал — сквозь невидимую прореху в полосатом тенте на скатерть летели быстрые капли, в винном бокале стояла розовая дождевая вода. Подавальщик посоветовал не медлить и отправляться прямо в *polizia*, пока у сержанта не кончилось дежурство. Здесь редко бывают иностранцы, вот Джузеппино и куражится, сказал мальчишка, но говорят, к нам скоро проведут автостраду, и начнется совсем другая жизнь.

Другая жизнь, думал Маркус, стоя на площади и чувствуя, как вода понемногу заполняет его мокасины. Что этот пацан называет другой жизнью: подземные гаражи, жареного цыпленка из Кентукки, ржавое концептуальное железо в городском сквере? Будь у меня деньги, хоть какие-нибудь деньги, я бы связал свои рубашки в узел и перебрался сюда на веки вечные. Пока тут не настала другая жизнь.

* * *

Два дня назад, когда Маркус понял, что снова увидит Траяно, ему стало не по себе, хотя он и думал об этом уже несколько лет. Но одно дело — думать, а другое — увидеть электронный билет, присланный римским издательством. Складывая одежду в сумку, он поймал себя на том, что ему хочется сунуть туда старый вельветовый пиджак, в котором он обедал в столовой «Бриатико», куда по вечерам не пускали без галстука. Он помнил эту столовую с витражными окнами, помнил запах сероводорода в гулких залах, где пациентов купали в маслянистой грязи, зимний сад, где за стеклом теснились лиловые листья, помнил даже заусенцы мозаичного пола в холле — прохладного, когда утром идешь по нему босиком.

Полицейский свернул к приземистому кирпичному зданию, ткнул в него пальцем и ушел, не оборачиваясь. На крыльце участка стоял высокий, наголо бритый старик в шафрановом одеянии, похожий не то на монаха-бхикшу, не то на дорожного

рабочего. Маркусу он кивнул, будто старому знакомому. От него пахло вчерашней выпивкой и дегтем, а шафрановые одежды оказались рыжим плащом, перемазанным белой краской.

Стоило Маркусу войти в служебное помещение, как дождь кончился, и солнечный свет вычертил на полу квадратики оконных решеток. Он пригладил волосы, подошел к дежурному и получил указание сесть и подождать. Дверь в кабинет начальника была закрыта, имени на табличке не было, да и таблички не было, просто листок за стеклом. Половину стены занимала карта провинции, на булавке с зеленым флажком, воткнутой в излучистый контур берега, значилось: Аннунциата делла Сори.

Все правильно, подумал Маркус, зевая, такие заброшенные места должны называться завораживающе. Трудно поверить, что было время, когда я катался по этому берегу, как сухой колючник, с рюкзаком, набитым шнурами, мокрыми трусами и ворованными лимонами. В компании девушки, которая любила ходить босиком.

В мокалинах Маркуса хлюпала вода, и он решил снять их и вынести на солнце. Парень за конторкой встрепенулся, помотал головой и показал на коридор, уходящий влево от двери комиссарского кабинета. Потом он нарисовал в воздухе моток туалетной бумаги, ловко его размотал и набил ей воображаемую туфлю. Почему итальянцы разговаривают с иностранцами как с глухими, думал Маркус, идя по коридору, в конце которого белели две одинаковые двери. Неужели мой итальянский за шесть лет так запаршивел?

На одной двери висела табличка «Окрашено». За второй дверью была служебная комната с печкой, вернее, кладовка, заваленная бумагой. Картонные папки лежали даже на подоконнике. Это были старые дела, предназначенные, вероятно, для сдачи в архив, а некоторые — просто в мусор, судя по тому, что они были свалены возле бумагорезательной машины. Маркус вспомнил, как она называется: *taglierina a ghigliottina*.

Он вошел, повернул ключ, оказавшийся внутри, снял куртку и повесил на щеколду окна. Возле машины стояла початая бутылка с вином, оплетенная соломой, Маркус отхлебнул из нее, сел на пол и принялся набивать разбухшие мокасины настриженной бумагой.

Закончив с этим, он взялся разглядывать папки, сложенные в гору: одни были потертые, другие поновее, с железными скрепками. Рядом лежали стопки канцелярских бланков, перехваченные синими резинками. Дорожные штрафы, подумал Маркус, урожай проворного сержанта. Эта мощеная площадка возле кладбища — его скромное сезонное дело, приносящее верный доход.

Цифры на бланках показались ему странными: двадцать тысяч, сорок тысяч, но, присмотревшись к датам, он понял, что деньги взимались в лирах. Потянув за самую толстую папку, он нарушил равновесие холма, и тот рассыпался. На папке было написано: «La stazione di polizia, 1989». Вот бы с ходу вытащить весну две тысячи восьмого. Досье Аверичи, например, или дело о смерти капитана. Нет, не с моим счастьем.

Восемьдесят девятый, надо же. За десять лет до его приезда в эти места. В восемьдесят девятом он учился в шестом классе, за голову Рушди объявили награду, умер фон Караян, на стадионе «Хиллсборо» погибли девяносто шесть ливерпульцев, а в Японии началась новая эра — Хэйсэй.

Петра

Птица, которая забывает, куда лететь, и отстает от стаи, — где она приземляется? Остается ли она зимовать в холодном краю? Первые несколько лет после ухода отца мать казалась мне такой птицей — бессильной и оцепеневшей, будто свиристель, обьевший ледяной рябины. Потом я привыкла. Прошло еще несколько лет, и стало казаться, что отца и вовсе не было. Мама тоже немного отогрелась. Плечи и руки у нее стали полные, кольцо врезается в палец, а губы расправились и порозовели.

Я думаю, что рот — это самая важная часть лица, всегда первым делом смотрю на рот. У моей новой подруги Пулии рот волнистый, будто лезвие малайского криса, зато, когда она смеется, видно, какой она была лет тридцать тому назад. У Бри рот был темным, отчетливо вырезанным, однажды я поймала себя на мысли: жаль, что я никогда не смогу поцеловать его в губы.

Когда я увидела брата в морге, его тело сильно уменьшилось, а на шею ему зачем-то повязали кусок марли. Морг есть

только в Палетри, при местной больнице, так что забирать брата пришлось оттуда, соседка Джири поехала со мной на взятом в аренду катафалке. Мы с трудом нашли пристройку на задах здания, окруженную запущенным садом. В прихожей служитель разговаривал с комиссаром, я услышала обрывок фразы: приход все оплатит... кремация... мэрия... засорился коллектор. Я склонилась над братом, черный платок развязался и слетел на пол, волосы, которые я утром заколола наверх, упали мне на лицо. На похороны в наших краях приходят с распущенными волосами, в тот день я ушла из дому, не умывшись и не причесавшись, а черные туфли спрятала в дорожную сумку. Я сказала матери, что Бри внезапно получил работу в Салерно и уехал утренним поездом, он оставил письмо, но я его потеряла, вот найду — и сразу ей прочитаю. Что его не будет полгода, так как траулер берет работников только на долгий срок. Мать только плечами пожала.

В то время у нее были плохие дни, и она проводила их в саду, устроившись в поломанном кресле, которое Бри притащил из яхт-клуба, где подрабатывал прошлым летом. Где он только не работал, мой брат, — спасателем, татуировщиком в Амальфи, барменом в привокзальной забегаловке, продавцом на рыбном рынке, сборщиком оливок. Он попробовал все работы, которые можно найти на побережье, если не учиться, а учиться он не хотел.

Брат лежал на клеенчатой простыне, желтый, важный и хрупкий, будто терракотовая статуэтка. Глядя на его рот, сложенный в едва заметную усмешку, я вдруг поняла то, что раньше не желала понимать. Бри оставался дома потому, что знал: я там ни за что не останусь. Он просто уступил мне очередь.

Как только мне ответили из Бриндизи, я разбила копилку, собрала свои платья и махнула на восток, в город, о котором я знала только две вещи: там умер Вергилий и кончается Аппиева дорога. Потом я перевелась на север, получила стипендию на отделение истории и права и совершенно успокоилась. Оставалось всего два года до новой жизни.

Служитель зашел в комнату и сделал едва заметный знак рукой: в прихожей меня ждал комиссар для разговора. Соседка то и дело вытирала лицо бумажной салфеткой, ей, наверное, хоте-